

Владимир Лакшин

**Театральное эхо**

*серия «Диалог»*

*Издание не подлежит маркировке знаком информационной продукции согласно Федеральному закону № 436 от 29.12.2010 как «информационная продукция, имеющая историческую, художественную или иную культурную ценность для общества»*

*Составитель книги благодарит за помощь в ее создании сына Ивана Лакшина, а также Антона и Юрия Горяиновых*

Имя Владимира Яковлевича Лакшина (1933—1993) хорошо известно всем, кто любит русскую словесность, драматургию, театр. Литературный критик, литературовед, писатель, мемуарист, доктор филологических наук, академик Российской академии образования; автор книг о творчестве Островского, Л. Толстого, Чехова, о русской литературе и драматургии; создатель уникальной телевизионной библиотеки фильмов о русских классиках — Пушкине, Чехове, Островском, Блоке, Булгакове и многих других. Всю жизнь В. Я. Лакшин писал о драматургии и театре, но впервые его статьи и воспоминания, посвященные спектаклям, актерам, их театральной жизни, собраны в одну книгу.

# **ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

## ТЕАТРАЛЬНЫЕ ТЕНИ МОЕГО ДЕТСТВА

*Мы длинной вереницей...*

«Театр» — было из первых услышанных мною по рождении слов. В театре работали, в театр спешили, в театр опаздывали, в театр вызывали, из театра возвращались мои родители. То, что было утром, называлось у них репетиция, то, что по вечерам, — спектакль. В особенности не нравились мне вечера. Обычно они оставляли меня дома наедине с нянькой и исчезали, едва смеркалось, а возвращались, когда я, уже вымытый в лохани и уложенный в постель, глубоко спал.

Что говорить, в театре были и свои хорошие стороны: там давали получку, распределяли пайки, в буфете водились конфеты «Мишка» и пирожные эклер, из театра присылали машину «эмка», чтобы в начале лета везти меня вместе с узлами из старых одеял и примусом на дачу. Позднее я узнал, что и на свет-то я появился скорее всего благодаря театру.

Когда я надумал родиться — а случилось это в клинике на Девичьем Поле, неподалеку от Пречистенки, где мы обитали, — роды принимала старуха-акушерка, работавшая там со старорежимных времен. В паузе между схватками мама пообещала, если все сойдет благополучно и родится девочка Анютка (мальчика почему-то не ждали), подарить ей билеты на «Дни Турбиных». Этот спектакль с бесподобным Лариосиком-Яншиным был на гребне своей славы, и попасть на него стремилась вся Москва. Я вышел на свет божий без больших помех, хотя и не оказался девочкой. А спустя несколько дней, пока краснолицый комок еще пищал в пеленках, акушерка, надев свое самое нарядное платье, уже смотрела знаменитый спектакль. «Когда у нас рожают, — сказала она потом маме, — золотые горы сулят, чего-чего только женщины не обещают, всё готовы отдать. А пройдет неделя-другая — никто и не вспомнит. Удивили вы меня». Так мое появление на свет было освящено и закреплено в театральных креслах.

Но в младенчестве моем театр представлялся мне всевластным и грозным идолом, от которого только и жди подвоха. Едва мама, бывало, объявит, что вечером не занята, и мы пристроимся под оранжевым с кистями абажуром у краешка стола, разложив цветные карандаши, альбом и переводные картинки, — звонок в дверь и на пороге посыльный из репертуарной конторы: «Распишитесь. Срочно

в театр. Замена спектакля». И мама убегает, на ходу застегивая шубку, а я реву в своем высоком стуле.

Вызвать могли на «Мертвые», «Дно», «Воскресение». Я оставался на унылом попечении молодой няньки, один со своими мыслями. Большая часть слов, сопровождавших внезапное исчезновение по вечерам моих родителей, несла в себе загадку. Ну «Воскресение» есть «воскресенье» — обычный день недели и даже для кого-то, но не для актеров, выходной, после того как отменили пятидневку. А например, «Мертвые души»? Это как прикажете понимать? Разве душ, под который меня ставили перед сном, когда у нас завелась ванна, мог быть живым или мертвым? «Вырастешь, поймешь», — отговаривался отец. Ну а «На дне»? Мне представлялся воздвигнутый на сцене гигантский аквариум с морскими водорослями, раковинами и песком, над которым важно проплывали красно-золотые рыбки. Что там могла делать мама?

Впрочем, я знал, что отец говорил со сцены, а мама за сценой пела. Оставаясь дома, она обычно подолгу распевалась у рояля. На всю жизнь запомнил я эти повторявшиеся на разные лады, бесконечно скучные вокализы: «Бо-ба-бэ-би-ба... Радость ты моя... Бо-ба-бэ-би-ба...»

Первый спектакль, который я увидел, был конечно «Синяя птица» — театральное причастие для многих поколений московских детей. Но прежде — целая неделя разговоров, обещаний, предварительных условий: как вести себя в театре, сомнений «не рано ли?», «поймет — не поймет», на которые я готовился ответить протестующим ревом.

Но вот то волшебное утро. На меня надевают бархатную коричневую курточку и рубашку с бантом у шеи и чинно ведут за руку в Камергерский. Я впервые вижу театр изнутри, и он меня разочаровывает: в Парке культуры и отдыха, куда я уже ходил с нянькой и где у самого входа огромные портреты вождей, сотканые из живых цветов, всё ярче, пестрее, наряднее. Кто-то тянет за большое бронзовое кольцо дверь в мелком переплете из толстых стекол, играющих по краям радугой, и в теплой ароматной духоте я поднимаюсь по лестнице, меня ведут по серому сукну, прячущему звук шагов, я вижу полутемный зал, матовые кубики фонарей, ряды деревянных кресел с вырезанными на спинке номерами. Здесь говорят приглушенными голосами, всё таинственно, сумрачно. Мама быстро простилась со мною и ушла, поручив заботам капельдинерши в форменной серо-зеленой тужурке с

эмблемой театра, а я остался в своем кресле ждать начала спектакля.

Мало-помалу зал заполнялся незнакомыми взрослыми с притихшими детьми. Моих сверстников между ними оказалось мало, всё больше постарше: мальчики в аккуратных костюмчиках, девочки с пышными бантами в волосах. Но вот померкли люстра и фонари, занавес с чайкой поплыл в стороны.

В «Синей птице» мама пела, и мелодии эти я знал с младенчества. Вкрадчиво, таинственно, то усиливаясь, то опадая, начинал звучать завораживающий мотив: «Мы длинной вереницей, пойдем за синей птицей, пойдем за синей птицей, пойдем за синей птицей...» И двигалась кавалькада фигур в серых, голубых, жемчужных балахонах, ниспадавших вольными складками. «Тильтиль, ты спишь?» — «Нет, Митиль, а ты?» Запомнилось замерзшее слюдяное окошко, к которому прильнули, вскочив со своих кроватей, девочка в ночном чепце и мальчик. Там, за оконцем, загоревшемся в сумрачной спальней, бежали разноцветные огоньки, двигались счастливые тени, звучала веселая музыка: шла елка у богатых детей. А потом появлялись фея Берилюна и неправдоподобно толстый Хлеб, готовый вырезать огромным кривым ножом ломоть из своего брюха, и Сахар, с треском ломавший свои пальцы, и капризное Молоко в голубом хитоне, способное скиснуть от любого огорчения. И, конечно же, вечно вздорившие между собой, то сближавшиеся, то с шипением и лаем разбежавшиеся по краям сцены, Пес и Кот. И, разумеется, Дедушка и Бабушка, сидящие на завалинке у своего дома в Стране воспоминаний, и опять и опять эта бесконечная цепочка фигур, двигавшихся в глубине сцены и по лестницам с прилипавшей к ушам мелодией: «Прощайте-прощайте, пора нам уходить...»

А в антрактах появление отца, и гулянье с ним по широкому коридору с деревянными лавками по стенам и портретами над ними, страх обмочить штанишки и пробег в туалет, шоколадный шар в серебряной бумаге и с сюрпризом внутри, который мне покупали в буфете, опасение, как бы не опоздать на свое место, и вопрос отца: «Ты меня узнал?». И мой робкий кивок, и смущение, оттого что это неправда, и уж никак не мог бы я его узнать в толпе незнакомых людей на сцене. И маму, честно сказать, я не угадал, хотя, кажется, различил ее голос...

Во мне рано родилось желание самому выступить на сцене, но лестная воображению надежда вскоре погасла: роль Сережи Каренина была уже занята, ее отдали сыну другого артиста, а иных подходящих для моего возраста ролей в репертуаре не предвиделось.

Пришлось мне остаться зрителем.

## Портреты

На стенах столовой в Глинищевском переулке, рядом с портретами прадедушки и прабабушки в старинных красивых рамах, висели большие застекленные фотографии. Этих людей называли в доме не по фамилиям, а по именам и отчествам: Владимир Иванович, Константин Сергеевич, Василий Иванович.

Однажды воспитательница дошкольной группы, с которой я гулял на Чистых прудах, непринужденно погружавшая, как считалось, интеллигентных детей в стихию немецкого языка, нарушила мою младенческую беспечность вопросом: «Камрад Вова, ахтунг! Назови, каких ты знаешь вождей?» И я бодро отрапортовал: «Ленин, Сталин, Ворошилов, Каганович, Качалов, Немирович-Данченко...» Дело было на скамейке у пруда, где мы только что кормили крошками воробьев. Мимо шли какие-то граждане, один из них обернулся. Воробьи взлетели. «Тише, тише, Вова. Данке шён», — пугливо залепетала старушка-воспитательница. Шел 1938 год, и моя идейная незрелость могла ей дорого стоить.

Станиславского мне не пришлось видеть даже издали. Но для моих родителей, как и решительно для каждого человека в театре, начиная с дирекции и кончая билетерами, это было абсолютное божество. Поколения актеров передавали из уст в уста его грозный возглас на репетициях: «Не верю!». И с обожанием обсуждали крохотные слабости и причуды гения: мнительность в отношении здоровья, впечатлительность, граничащую с обмороком, и паническую боязнь советской власти, к которой он по-детски неуклюже пытался приспособиться, кошмарно путая реальности нового быта. «Тсс! Молчите!..» — говорил он актеру, обронившему не слишком осторожное, на его взгляд, слово. «А не то вас заберут в ГУМ!» (Он имел ввиду совсем другое, а именно ГПУ, но ему не давались советские аббревиатуры.) Или, к смущению окружающих, называл «закрытый распределитель», к которому его прикрепили по указанию самого Енукидзе, «тайным закрепителем». «Угощайтесь,

пожалуйста, — потчевал он гостя, — эти фрукты... гм... гм... кремлевские, из тайного закрепителя».

Константин Сергеевич, я чувствовал это по разговорам взрослых, был кумиром, вровень с которым не мог встать никто. Он парил над театром и его людьми, и никакая житейская мелочь, пошлая подробность не могла его коснуться. А если молодые артисты порой разрешали себе тихонько подсмеиваться над «стариком», то лишь над чудачествами и слабостями, которые делали этого красавца-великана с серебряной головой еще милее и ближе всем. На репетициях же самозабвенно искали *зерно* роли, очерчивая мысленно *круг внимания*, наживали *биографию образа*, находили нужные *темпо-ритмы*.

Недавно мне попало в руки письмо отца, написанное им на склоне лет, где он вспоминал о мгновениях своего общения со Станиславским: «То, что запомнилось мне ярко, это когда в первые дни пребывания в театре я встретился с К. С. за кулисами во время какой-то репетиции, кажется, “Вишневого сада”. Он увидел меня, поднялся на носки и пошел, явно утрированно, чтобы показать молодому актеру, как нужно бесшумно ходить за кулисами. Потом было интересное занятие по “Мольеру” Булгакова. Я играл там придворного короля Людовика, и вот пришли к нему в Леонтьевский показывать костюмы. У меня была громадная “толщинка”, такой живот, что трудно было его носить, он казался неестественным. И вот из всех актеров он почему-то в первую очередь вцепился в меня и попросил Людмилу Штекер принести еще что-нибудь от Марии Петровны (Лилиной), так как живот ему казался мал. Людмила принесла какой-то плед. Он собственноручно засунул мне его под мундир. Но и это его не удовлетворило. Тогда Людмила принесла еще какую-то шаль. И вот я стал гора горой, и он предложил мне искать походку и вместе со мной ходил по залу около сорока минут. Остальные человек двадцать сидели и смотрели, в том числе режиссеры и художники, а он только приговаривал: “Вспомните этих буржуев, которые из нас кровь пили”. После этой сорокаминутной муштры он сел и сказал: “Вот, у него уже получается, теперь делайте все, как он”. И все стали ходить по залу и искать походку придворных... К сожалению, записей его репетиций у меня не осталось, мы их тогда не делали. И все эти гениальные вещи, которые говорились и на “Растратчиках”, и на “Бронепоезде”, на “Отелло”, “Унтиловске” и тому подобное — всё это из памяти ушло».

Да, сейчас можно об этом лишь пожалеть, подбирая крохи воспоминаний, воскрешающих в памяти булгаковский «Театральный роман».

Мама прошла все репетиции народных сцен в гениальном спектакле «Женитьба Фигаро», где Станиславский часами работал с каждым из исполнителей, замечая каждого, кто бегло мелькнул на заднем плане. Но вспомнить могла лишь одно: «А это кто там с веером? Чайковская? Как вы держите веер? Не верю!» (Фамилия моей матери была Чайковская и, разумеется, подруги по сцене звали ее Чайка.)

Другим любимцем театра был Василий Иванович Качалов, мама его попросту боготворила. Какой голос, осанка, какое благородство! С умилением рассказывала, как однажды он артисткам музыкально-драматической части, по-домашнему, целый вечер читал стихи Блока в верхнем фойе. В паузах помешивал ложечкой чай с кружком лимона, а потом тот лимон вынул и, представьте, съел целиком, со шкуркой у всех на глазах. Актер-аристократ, такой великий и такой простой!

Легенды рождались из воздуха. Подруга матери по театру Ольга Николаевна Дурасова однажды пожаловалась за кулисами, что опаздывает на репетиции, не умеет вовремя проснуться. Приходит на другой день в театр — у нее перед зеркалом в гримерной элегантный небольшой будильник. Костюмерша объясняет: «Василий Иванович прислал!»

Когда он шествовал вниз по Тверской к театру, учтиво приподымая шляпу и раскланиваясь со знакомыми, в толпе шелестело: «Качалов! Качалов!» Сам же он любил рассказывать, смеха ради, как зимой ходил гулять в Барвихе по узкой дорожке, зажатой сугробами. Идет барином, в высокой меховой шапке, в пенсне, с красивой тростью — а навстречу лошадь, запряженная в сани. На дороге не разминуться, Качалов посторонился. А лошадь встала. Мужик кричит: «Но-о!», дергает вожжи, лошадь ни с места. «Уступает дорогу Качалову, вот, животное, а понимает...» — мелькнуло в голове Василия Ивановича. И тут возница: «Но-о! Чего встала? На какое говно загляделась?» И Василий Иванович добродушно смеялся своим рокошущим баском.

Мама пересказывала эту незамысловатую историю, как и всё, что касалось Василия Ивановича, с восторгом. Плохих слов знать мне не полагалось. Но надо ли говорить, что Василию Ивановичу было позволено все.

Увидеть Качалова на сцене мне так и не довелось. Зато бесшеславия не позволит мне умолчать о том, что на одном



моем выступлении Качалов присутствовал, — во всяком случае так уверяла моя мать.

Было это в конце 1930-х годов в подмосковном Пестове, где отдыхали летом актеры Художественного театра. Прошел быстрый и сильный летний дождь, и под пахучими липами перед столовой собрался кружок отдыхающих. Там были Качалов, Тарханов, Халютин, еще кто-то из корифеев. Аккордеонист на скамейке развернул меха, вызывая молодежь на танцы. Никто не решался выйти на круг, тем более что посреди площадки еще стояли непросохшие лужи. И вдруг четырех-пятилетний малец, вырвав руку у матери, выступил вперед, прямо в ботиках с расстегнувшимися застежками, и на глазах всей актерской публики стал отплясывать самодельного гопака, неуклюже притопывая по лужам. Мама была смущена, даже скандализована моей выходкой. «Кто это? Чей?» — «Да Яши Лакшина, нашего Якова Ивановича сын». Качалов заразительно смеялся, сняв пенсне и откинув назад голову, и, говорят, мне аплодировал.

Согласитесь, что получив признание в столь нежном возрасте, я мог в дальнейшем спокойнее относиться к зигзагам неверной славы.

## Однокашник Чехова

При выходе из нашего парадного, на крыльце с мраморным парапетом сидел укутанный в боярскую шубу старик с крупным актерским лицом — большим ртом, большим носом. Его выносили из квартиры в плетеном кресле и спускали на лифте, чтобы он дышал воздухом на первом весеннем солнце. Старик зябко поджимал руки в рукава, хотя небо голубело, все таяло, шла дружная, московская весна и прохожие шагали по тротуарам без шапок, в пальто нараспашку.

Здесь же, следя за весенней капелью с сосулек, прислушиваясь к грохоту подтаявшего льда в водосточных трубах, бегал и я, выгнанный из дома на прогулку.

Должно быть, старику было скучно сидеть в одиночестве, и как-то он окликнул меня: «Мальчик, ты умеешь читать?»

В этот момент я пускал плыть щепку в протаявшем ручейке у мостовой, но оглянулся на его возглас. Он попал в яблочко: чтение было мой конек. Складывать буквы я научился в пять лет и, хотя поначалу ленился упражняться в чтении вслух, вскоре стал зачитывать домашних так, что меня нельзя было остановить. Старик протянул мне газету, и я

громко, «с выражением» отпартовал ему текст заметки о новом феноменальном успехе колхозницы Марии Демченко.

С тех пор наши встречи на мраморном крыльце стали обычными, и, когда я задерживался с выходом на прогулку, мне казалось, что старик уже ждал меня. Он приветствовал меня без тени сентиментальности и кивком приглашал занять свое место у кресла с газетой, которую вытаскивал из-за пазухи. Я читал о победных боях с белофиннами на линии Маннергейма, о подвигах лыжного батальона в лесах Карелии, о трудовом почине свекловодов Украины и последней речи в Германии доктора Геббельса. Он слушал, опустив голову, опершись подбородком о массивный набалдашник палки и никак не выказывая своего отношения к прочитанному. Временами он задремывал, начинал ровно посапывать, я замолкал, и тогда он вскидывался: «Читай! Что дальше?» Иногда же сам прерывал мое чтение. Завидев на противоположном тротуаре знакомую фигуру, вытягивал рукав в сторону переулка. «Эй ты, дурак, куда спешишь? Поди сюда». Известный артист младшего поколения, нисколько не покоробленный столь малоучтивым обращением, останавливал стремительный бег и почтительно подходил к парапету. «На репетицию... Доброго здоровья, Александр Леонидович!» — «Ну, здравствуй, здравствуй... Что там Володька? “Три сестры” возобновляет? (О ужас, я понимал, что речь идет о Немировиче-Данченко.) ...Ливанов репетирует Соленого? Ну и как? Конечно, скверно... А мою роль Васе Орлову отдали? И что? Так и знал, конечно, изговняет... Вот я играл Кулыгина — Антону нравилось. Чехов на меня лучшие роли писал». Молодой актер стоял в почтительной растерянности. «А ты что бросил читать?!» — снова поворачивался он уже ко мне.

Это был одноклассник Чехова по таганрогской гимназии, один из старейшин театра — первый дядя Ваня, Кулыгин, Дорн в чеховских пьесах — Александр Леонидович Вишневский, по домашнему театральному прозвищу «Герой-Труба». Прозвищем этим он был обязан одному не столь давнему случаю. Однажды, в конце 1920-х годов, не успевая вернуться из Кисловодска к открытию сезона, он послал в театр экстренную телеграмму, прочитанную на сборе труппы под гомерический хохот: «Задерживаюсь приездом важным обстоятельством. Герой-труба Вишневский». Незадолго до того он получил звание Героя Труда, только что введенное ВЦИКом, и решил произвести впечатление пышным титулом, не ведая, как подведет его телеграфистка.

Причудливы изгибы исторических троп. Лишь годы спустя я мог оценить, что рядом со мною, еще мало что смыслившим на этом свете, в тени огромного красивого раскидистого дерева, называемого Художественным театром, доживали люди чеховской поры. Я не видел их на сцене, не был свидетелем их триумфов, того стиля игры, когда современники, собираясь на спектакль «Три сестры», говорили: «Нынче вечером идем в гости к Прозоровым». Но я счастлив, что успел застать еще не совсем в руинах спектакль Немировича 1940 года и навсегда унес в своих ушах интонации Грибова-Чебутыкина, Ливанова-Соленого, Орлова-Кулыгина, Тарасовой-Маши, Еланской-Ольги — этот еще поразительно подлинный чеховский мир, прозрачно-реальный и неопровержимо-поэтический, как та березовая аллея, по которой уходит на дуэль, навсегда простившись с Ириной, барон Тузенбах.

## Мои встречи с Немировичем-Данченко

Множественное число в заглавии я употребил, правду говоря, по инерции и ради форса. Встреча была только одна. Но какая!

В конце 1930-х я жил с родителями в Глинищевском переулке, позже названном торжественно и неуклюже улицей Немировича-Данченко. И в том самом доме, где провел последние годы жизни корифей русского театра, в соседнем с ним подъезде. Дом был роскошный, в новом вкусе, с мраморными порталами, арками и пятнадцатизэтажной «башней», высоко взметнувшейся над крышами низкорослой довоенной Москвы.

Из друзей по двору сложилась ватага ребят, одетых по большей части в шапки с болтающимися ушами, теплые рыжие рейтузы и валенки с калошами. Все они, как и я, были того возраста, когда еще не ходят в школу, но их уже пускают гулять во дворе одних.

А двор был замечательный. В нем доживали свой век двухэтажные, карминного цвета домики с провалившимися полами и обрушенными лестницами — недавний приют разогнанного церковного причта: атеисты-архитекторы возвели актерский дом на месте старинной церкви Алексия-митрополита.

Здесь, в этих старых домиках, а зимой среди огромных сугробов, которые набрасывали дворники, соскребая и свозя

снег с улицы, хорошо было прятаться, бегать, играть в войну и казаки-разбойники. Кто-то из нашей юной компании, изрядно находчивый (мне лестно думать, что это был я), предложил рыть в этом снегу пещеры, забираться туда с елочными свечками, зажигать их и, присев на корточки, блаженствовать. Блаженство заключалось в том, чтобы сосать припасенные в карманах ириски «Золотой ключик» и рассказывать страшные истории.

Но пришла весна, снег стал сходить, пещеры растаяли, и однажды в поисках укромного уголка я обнаружил отличное место. В высокой арке ворот стояли прислоненные к стене большие фанерные щиты. Стоило расположить их с нужным наклоном, как получалась просторная щель, напоминавшая каморку под высокой косой крышей. Туда мы и забились однажды со свечками, ирисками и коробком спичек. Но едва засветили теплые огоньки, как где-то рядом послышались шаркающие шаги, фанерный щит загрохотал, падая, и чей-то немолодой важный голос крикнул: «Мальчишки! Хулиганы! Спалите дом!» Ребята бросились врассыпную, я замешкался на мгновение и был схвачен за плечо цепкой рукой. Надо мною склонился старик в толстом ворсистом пальто и шапке пирожком. Лицо его было знакомо по фотографиям, висевшим в нашей столовой: серебряная лопатка бороды, прищуренные глаза под густыми бровями.

«Как тебя зовут, разбойник? Ты понимаешь, что натворил? Да ты едва не сжег дом!» Я молчал, уткнув глаза в землю и не желая называть себя. «Ты молчишь? Но я всё равно знаю твоего отца и сегодня же всё ему скажу».

Ужас объял меня. Как он мог догадаться, кто мой папа? «Пустите!» — отчаянно завопил я, дернул плечом, вывернулся из его цепких рук и помчался вверх по лестнице. Мне казалось, что он преследует меня, что я слышу за собою его шаркающие шаги. Я несся по лестницам все вверх и вверх, вихрем минуя площадки этажей. Красный и потный от этого сумасшедшего бега, в растерзанном пальтишке (шапка с завязками сбилась на одно ухо), влетел я на пятнадцатый этаж «башни» нашего дома. Дальше бежать было некуда, на чердачной дверице висел замок. Прислонившись к стенке, хватая ртом воздух, я делал усилия, чтобы не сползти на холодный пол. Сердце молотило, угрожая выскочить из груди. Но шагов по лестнице я не слышал. Всё было тихо, через пыльное оконце я вдруг увидел, как лениво идет по крыше кот, и только сердце бухало, как паровой молот.

«Он обещал сказать отцу! Ну и достанется мне дома». Ужасная угроза казалась мне реальной. То соображение, что навряд ли он мог различить меня среди десятка одинаковых краснощеких мальчишек, гонявших по двору, а стало быть, и догадаться, кто мой отец, не приходило мне в голову. Отец служил в том театре, где старик был главным, там его слушались, боялись, боготворили. А это значило, что отца могла ждать крупнейшая неприятность. А заодно и меня. Не видать мне велосипеда к дню рождения!

Наверное, с полчаса я просидел на корточках у двери на чердак, а потом тихим, настороженным шагом спустился по лестнице.

Машина с Владимиром Ивановичем, черный ЗИС, который ему подавали, давным-давно укатила, а я, озираясь по сторонам, пугливо юркнул в свой подъезд.

День-другой мама удивлялась тому, что я необычно тих и не пререкаюсь по утрам из-за манной каши. «Тебе нездоровится?» — спрашивала она тревожно и целовала лоб, пробуя температуру.

Но отец возвращался днем с репетиции как ни в чем не бывало, обедал и по обыкновению засыпал в кресле над газетой. Я понял, что Владимир Иванович не оказался ябедником.

Больше я не встретился с Немировичем-Данченко.

## Актерские судьбы

Отец был не прочь, чтобы я, когда вырасту, стал актером. Но мама боялась этого как огня и не хотела для меня такой судьбы. Доля неудачливого, среднего, зависимого от всех и вся артиста представлялась ей ужасной, и не понаслышке. Каковы бы ни были природные способности, но в театре куда могущественнее «господин случай», и ты поневоле зависишь от пьесы, роли, партнеров, настроения публики, но, пожалуй, более всего от режиссера. Он — создатель, царь и тиран сценического мира, и тут неизбежно покоряться и ждать, терпеливо ждать от сезона к сезону новой роли, обреченно следя за тем, как мелькают годы, десятилетия, уходят молодость, сила, красота — сама жизнь.

Но праздничный мир театра влек меня неудержимо. И, подрастая, я сдружился с некоторыми из актеров. В особенности близко узнал я многих в летние месяцы, на отдыхе, в подмосковном Пестове уже в послевоенные годы. Рискуя показаться навязчивым, я не отходил от взрослых, то

и дело собиравшихся небольшими компаниями почесать языки на скамейке у пристани или перед старым барским домом. Подростком я впитывал их рассказы, театральные анекдоты, заранее был готов смеяться самым непритязательным шуткам. Мне нравился их юмор, талант, фантазия, детское, нетяжеловесное отношение к жизни. Только позднее я мог оценить слова старухи крестьянки об одном из моих любимцев: «Легкий разумок!». А тогда с какой силой тянуло меня в кружок актеров, казавшихся такими беззаботными счастливцами.

Помню острые шутки и уморительные «мордочки» Грибова, песни Яншина под гитару у ночного костра в заливе, рокочущий бас Ершова. Знаменитый «благородный герой» с аристократической осанкой, «фрачный» актер Художественного театра Владимир Львович Ершов был прост и добродушен, как и его рассказы. Он вспоминал, к примеру, о том, как летом 1914 года, едва он кончил гимназию, богатая тетка сделала ему подарок — двести рублей ассигнациями и билет на пароход по Волге: до Астрахани и обратно. Пусть юноша проветрится, посмотрит Россию-матушку, раз уж в Европе неспокойно, думала, наверное, старая идеалистка. Почитавший себя уже взрослым, безусый молодой человек ехал в путешествие по великой русской реке один. Но в соседней каюте оказался его злой демон — поручик, бегавший на каждой пристани за вином и водкой и приглашавший вчерашнего гимназиста разделить эти радости, разумеется, за его же счет. Теткины деньги стремительно таяли. Спасение юному Ершову принесло несчастье: посреди плавания пришло известие о начавшейся войне с германцем, и царским указом продажа вина была запрещена. Однако поручик нашел выход: в Царицыне он повел Ершова в аптеку и купил ящик одеколona «Лев Толстой». На больших плоских флаконах с зеленой этикеткой стоял босыми ногами в траве, заложив руки за пояс белой толстовки, страстный поборник трезвости, великий яснополянский старец. Всю обратную дорогу на пароходе до Москвы Ершов чувствовал на себе его укоризненный взгляд, ибо поручик неумоимо обучал юношу, как пить одеколон, и в объятия тетушки тот вернулся с бесценным знанием, подтвердившим получение им аттестата в суровой школе жизни.

Рассказывал Ершов и о вспышках детской фантазии Станиславского, сопутствовавших ему и в жизни. Однажды, оказавшись с ним в одном купе скорого поезда, он провел

бессонную ночь: Станиславский смертельно боялся, что на поезд нападут бандиты-«прыгунчики», и изобретательно строил планы самообороны. Памятен и другой рассказ Ершова: однажды, возвращаясь с гастролей в Ленинграде, он был арестован прямо на перроне, у вагона «Красной стрелы», и в машине с зашторенными стеклами доставлен в ленинградское ГПУ. Лишь под утро, после бессонной ночи в общей камере, была установлена личность известного артиста и он был отпущен домой. Ему объяснили, что произошла небольшая ошибка: тем же поездом из Ленинграда в Москву должен был возвращаться высокий гость — то ли турецкий, то ли персидский министр. А в ГПУ дали знать, что за ним будет тайно следовать с неизвестными нам целями британский агент: почти двухметрового роста, хорошее пальто, респектабельная внешность — ну точь-в-точь Владимир Львович. Вот и случилась досадная накладка — разве у вас в театре такого не бывает?

МХАТ, как театр «императорский», пользовавшийся покровительством кремлевских вождей, за малыми исключениями не узнал всей жестокости репрессий. Из выдающихся актеров был арестован разве что молодой Кольцов, попытавшийся разыскать своих родственников во время гастролей 1937 года в Париже. Но тема висела в воздухе и отражалась в зеркале невеселого смеха.

Вскоре после войны сентиментальный Михаил Болдуман, любивший животных и близко к сердцу принимавший все их страдания, собрал на своем балконе, выходившем на Тверскую, залетевших туда майских жуков, посадил их в коробочку и решил выпустить на волю во время прогулки в Александровском саду. Едва он занялся этим душеспасительным делом, сидя на скамье и вынимая их за ножку одного за другим («Летите, милые, летите...»), как почувствовал тяжелую руку на плече: диверсант был арестован. В ту пору начала холодной войны любому школьнику известно было, что американцы заслали в нашу страну колорадского жука, чтобы подорвать отечественное сельское хозяйство. А тут в двух шагах от Кремлевской стены — такая наглая провокация... Болдуман был препровожден куда надо, и театру стоило больших усилий выручить его из узилища к очередному спектаклю.

Такие или похожие рассказы сыпались в часы благодушного отдыха один за другим. Но знаменитые актеры, правду сказать, всё же порою важничали, надували щеки, и вся их осанка на прогулке по главной аллее, и резные трости,

и бабочка у воротника даже в жаркий июльский день говорили о том, что они, «народные», ищут себе ровню и не должны мешаться с демократической актерской публикой. Куда доступнее были люди незначительные, хотя и одаренные по-своему не менее ярко: для них «номера» и рассказы на отдыхе были как бы возмещением за несыгранные роли, пропущенный успех. Немало же я их перевидал! Сколько живых талантов собрал и погубил, не дав им раскрыться, держа в труппе на всякий случай, засолив «про черный день», их идол Художественный театр!

Среди них были редкостные оригиналы и настоящие мастера домашних представлений, как, например, герой поэмы — самодельного подражания «Онегину» — на пестовском капустнике:

...Веселье здешних вечеров  
Смирный грешник Коля Ларин...

В театре Николай Павлович Ларин играл крохотные роли. Правда, были в их числе такие шедевры, как роль посыльного «от Бурдые» в спектакле «Плоды просвещения». Целый акт он сидел молча в углу большой прихожей со шляпной коробкой на коленях и ждал, когда на него обратят внимание (он принес из модного магазина новую шляпку для барыни). По временам кто-то из хозяев барского дома брезгливо и отрешенно спрашивал: «А это кто?» Ларин поспешно привставал с поклоном, рискуя уронить коробку: «Я от Бурдые». — «А-а», — и на него махали рукой, не до тебя, мол.

Зрители смеялись, но для публики актер все же был мало заметен, хотя партнеры его ценили, ловя тонкости характерной интонации. Неудовлетворенный своим амплуа на сцене, Ларин что-то изобретал по постановочной части, занимался театральными шумами, преподавал в студии. Но главный его дар открывался и цвел за кулисами и на пестовской скамейке.

Когда Коля Ларин был в ударе и соглашался «показать», его обступали плотным кольцом и начинался настоящий фейерверк актерской фантазии. В эту минуту ему могли позавидовать увенчанные лаврами знаменитости.

Искусство актерского этюда — странное торжество «чистого» театра. Когда-то, по преданиям, Пров Садовский-старший доводил до истерики смеха, до колик публику, среди которой были Гоголь, Островский, Ростопчина. А он всего-то показывал пьяного купца, и вся драматургия этюда состояла в



том, что купец ходил вокруг старой липы и повторял на разные лады одну фразу: «Муха жужжит... Муха жу-ужжит...». А приятель Островского Иван Егорович Турчанинов, актер на третьи роли, изумлял честную компанию тем, что умел представить «лицом и всею фигурою»... старую истасканную шубу. Гением перевоплощения не только на сцене был и Михаил Чехов. Нечто подобное проделывал на моих глазах и Ларин. Это были, так сказать, фигуры высшего пилотажа, маленький театр «для своих», для посвященных, — случалось, народные артисты молча пасовали перед даром человека, которому, по странностям судьбы, доверялось произнести на сцене разве что «Кушать подано!».

Конечно, серьезного «содержания» или социального «подтекста» в этих этюдах не было ни на грош — так, цветы невинного юмора. Но какое мастерство! Он представлял, например, этюд «Жесткий бифштекс». Поначалу церемонный посетитель ресторана, желавший выглядеть джентльменом, заткнув за воротник салфетку, пытался резать жесткое, как подметка, мясо ножом, страдая от скрежета по тарелке. Потом, измучившись над ним, рвал его зубами, закладывая в рот, надувая защечные мешки, бесконечно жевал, как резину, и наконец мучительно глотал. Салфетка летела в угол. Отдышавшись, за отсутствием зубочистки, начинал тянуть жилку, застрявшую в зубах. Захватив ее робко двумя пальцами и оглянувшись по сторонам, он натягивал ее, как струну, удивляясь, что она все тянется. Уже выбросив из головы всякую претензию на джентльменство, наматывал ее на палец, потом на ладонь (она все тянулась), наконец зацеплял за носок ботинка и дергал ногой, обрывая конец! Да, бифштекс оказался жестковат... Публика стонала, переламывалась в поясице, держалась за животы, падала от хохота.

Другим небольшим шедевром Ларина был рассказ о том, как, впервые услышав слово «самоед», он стал представлять себе, что бы это могло значить. Он воображал себе человека, который для начала съедал, с хрустом ломая один за другим, все свои пальцы. Затем, не удовлетворившись этим, сгрызал руку до локтя (казалось, она в самом деле исчезала на ваших глазах), потом обламывал и, причмокивая, с аппетитом съедал уши и нос и, наконец дойдя до глаза, вытягивал его из век, как яйцо всмятку, макал в соль, проглатывал — и кривел. Потом точно так же закусывал вторым глазом — и слеп окончательно... Это было отдаленное предвестие

шокирующих шуток черного юмора, но какое невульгарное и изящное!

Николай Павлович Ларин — и не он один — так и ушел, не оставив заметного следа в летописях прославленного театра.

### «И конечно, и бижющлѣвно...»

Рассказывая об отцах-основателях театра, я забыл упомянуть об одном, о ком публика почти не знала. А между тем грех его не вспомнить.

Когда в 1948 году театр отмечал полувековую годовщину, на сцену под гром оваций вышли два «полных» юбиляра: пятьдесят лет назад они играли в первом спектакле «Царь Федор Иоаннович».

Одного из юбиляров знали решительно все — это была Ольга Леонардовна Книппер-Чехова. Другого почти никто не мог припомнить. Им был Сергей Александрович Мозалевский — неизменный многотерпеливый исполнитель «народных сцен», прославивших, впрочем, этот театр не менее, чем психологическое «подводное течение» и «ансамбль» исполнителей главных ролей.

Перед самой войной большой успех имела книга воспоминаний генерал-лейтенанта Игнатьева «50 лет в строю». Как только не переименовывали это название записные остряки: «50 лет в струю», «50 лет в строю и ни в одном бою» и т. п. О Мозалевском говорили, будто он пишет мемуары: «50 лет *стою*». Он в самом деле простоял полвека на сцене в костюме и гриме, не произнося при этом ни единого слова.

Причиной тому был некий дефект речи, делавший не совсем понятным решение юного Мозалевского пойти в артисты: он мучительно шепелявил, да еще временами с присвистом, и вообще добрую половину согласных произносил нечисто. Любой другой на его месте давно был бы отставлен от театра, но Мозалевский подкупал всех, и особенно Владимира Ивановича Немировича-Данченко, примерной исполнительностью, аккуратностью и беспредельной преданностью делу. За полвека службы не было случая, чтобы он хоть на минуту опоздал на спектакль или репетицию, курил в неположенном месте или громко говорил за кулисами перед выходом на сцену. А надо ли пояснять, что такая верность заветам профессии ценилась в Художественном театре, как ни в каком другом. С годами труппа менялась, актеры приходили, уходили, старики

Конец ознакомительного фрагмента.  
Приобрести книгу можно  
в интернет-магазине  
«Электронный универс»  
[e-Univers.ru](http://e-Univers.ru)